

# ДВАДЦАТЬ ДВА

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

**4**

(“ДАЛЕТ”)

ТЕЛЬ-АВИВ

1978

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

## ТРИ УТОПИИ

(М. Бакунин, Ф. Достоевский и К. Леонтьев)

### 1. СТАВРОГИН И МЕФИСТОФЕЛЬ

Тема “Бакунин и Достоевский” не нова. Достаточно вспомнить нашумевшую в свое время статью Л. Гроссмана, в которой утверждалось не более и не менее, что “единственный раз на протяжении целого полустолетия маска с лица Бакунина была приподнята, и сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца в одной замечательной художественной интуиции... Ставругин — это яркий рефлектор перед лицом Бакунина.<sup>1</sup> Статья произвела сенсацию. Гроссмана пылко поддерживали и энергично опровергали. Дискуссия захватила виднейших представителей тогдашней социологии и литературоведения: Б. Горева, В. Сакулина, В. Спиридонова, Ю. Стеклова, Вяч. Полонского. Копья ломались целых два года. Вопрос остался открытым...

Менее всего было бы уместно сейчас продолжать неоконченный спор. Упоминаю я о нем лишь затем, чтобы показать, что проблематика эта имеет уже свою историю. По сути же дела, проблема кажется мне неразрешимой. Конечно, — с избранной тогдашними оппонентами точки зрения, согласно которой Бакунин и Достоевский представлялись полярными противоположностями, антиподами, — оказывалось возможным трактовать Ставругина, как неудачную сатиру на главного “Беса”.

---

<sup>1</sup> Спор о Бакунине и Достоевском. Госиздат, 1926, стр. 8, 34.

Между тем Ставрогин — и впрямь сатира, только на явление гораздо более глубокое и более ненавистное Достоевскому. И главное, — написанная с позиций, которые, как ни покажется это на первый взгляд парадоксальным, в высшей степени близки самому Бакунину.

Что призван олицетворять Ставрогин? Европеизированный интеллект, рацио, до такой степени очищенный от чувства и веры, что он органически не способен уверовать во что бы то ни было — будь то шигалевский рай, женская любовь, атеистический “муравейник”, материнская привязанность или православный Бог. Ставрогин — не бес, Ставрогин — искушитель бесов, Мефистофель бесовства, Пигмалион наизуворот, презирающий свою Галатею. Он оскотлен своим гипертрофированным рацио, он не холоден, не горяч, он тепл и потому не может прилипнуть душой ни к одному из общественных движений, и потому — ренегат. Он изменил православию, в которое вовлек неверующего Шатова, и атеизму, в который вовлек верующего Кириллова, чем погубил обоих, изменил Лизе с Дашей и Даше с Лизой, России с Европой и Европе с Россией, изменил всему, чему можно изменить на этом свете, запутал всех, запутался сам — и погиб в петле, как Иуда. Ставрогин (читай: интеллект без веры) ренегат не какого-либо движения, он — ренегат всех движений, ренегат в принципе. И все от того, что “гордость” убила в нем “смирение”, интеллект убил веру. В этом противоположении движется мысль Достоевского.

Но в этом же противоположении движется и мысль Бакунина. Ибо он, и это никем и никогда не подвергалось сомнению, веровал. Веровал страстно, пламенно, фанатически. Веровал, разумеется, в свои идеи “всеобщего разрушения” как залог сотворения нового и прекрасного мира и в родственные им идеи славянского мессианизма, несущего человечеству все, “что есть инстинктивного и творческого в мире” главным образом “историческое чувство свободы”.

Так же как и Достоевский, Бакунин ненавидел гипертрофированный европейский рацио, называл “доктринализмом”, так же противопоставлял ему непосредственную, недоступную интеллекту “народную правду”, “свободную от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков”.

И Бакунин никогда не изменял своей вере и своей ненависти. И Достоевский з н а л э т о. Вот почему Петр Верховенский у него “мошенник. а не социалист”...

Но если так, то очевидно же, что либо Достоевский не имел намерения изобразить Бакунина, либо изобразил, но создал карикатуру. И в том и в другом случае предположение, что "сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца", не подтверждается. Но разве суть в этом? На самом деле Ставрогин оказывается ключом не к "психологической проблеме", но к философскому обобщению большой объяснительной силы, неизмеримо более важному, нежели гипотеза о его прототипе. Потому что именно в этом художественном образе Достоевский попытался воплотить свою генеральную, пронизывающую всю его публицистику, идею о неспособности интеллекта разгадать законы общественного устройства, открытые лишь интуиции верующего, о том, что интеллект — Мефистофель общественного сознания, провоцирующий его на неисполнимые, безумные акции, неотвратимо влекущий в исторический тупик безверия, преступления и бесовства.

Вследствие этого социальная функция и само существование носительницы этого радио — интеллигенции, оказывается сомнительным и даже при определенных условиях вредным. В самом деле, если не для открытия законов общественного устройства, если не для их идейного освоения, если не для просвещения народного существует интеллигенция, то для чего она?

Если законы эти открыты лишь неиспорченной ложным просвещением интуиции, лишь непосредственному чувству человека из массы, если "народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и его учение", если народ "вместе с ним, с Христом, уж, конечно, принял и истинное просвещение" и "христианство народа нашего есть и должно остаться навсегда самую главною и жизненной основой просвещения его", если таким образом вся информация, необходимая для идеального общественного устройства, дана заранее в заповедных глубинах народного духа, и задача заключается в том, чтобы извлечь ее из этих изначальных метафизических глубин, а интеллект способен лишь фальсифицировать эту задачу, то зачем он тогда, интеллект?

Вот отчего "мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, — теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтоженький". Вот отчего "это мы должны преклониться перед правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти из Четьи-Миней!"<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. худ. произв. т. 11, М—Л., 1929, стр. 256, 186.

Согласитесь, что там, где в качестве кодекса и конституции идеального общественного устройства предполагаются Четырехминей, интеллекту делать нечего. Там он должен быть принижен, истреблен, разрушен вместе с порожденным им ложным просвещением и институциональной структурой.

Вот что означает на деле знаменитое бакунинское: “Разрушение есть созидание”.

Это не парадокс, это — вера. Вера, общая у Бакунина с Достоевским.

Вера в то, что содрав, разрушив верхний, порочный, неистинный слой социальной структуры, мы найдем под ним вечный и неизменный пласт “народной правды”, метафизический источник добра и истины, “истинное просвещение”, освобожденное от сатанинских “хитростей разума”. Но в этом же основополагающем убеждении разгадка и пресловутого “византизма” Константина Леонтьева, “византизма”, “как сложная нервная система, пронизывающего весь великорусский общественный организм”.

В каждой из трех этих страстных и искренних проповедей мы роковым образом наталкиваемся на одно и то же отрицание исторического творчества, своего рода культурный нигилизм, апеллирующий против социальной лжи — к интуиции, против сознательно-го творчества — к стихии народной жизни и веры.

Методология эта, отрицающая логику и потому для нее неуязвимая, имеет, однако, свою ахиллесову пяту, свой незащищенный нервный узел. Состоит он в неизбежной провозвонности метафизических начал, положенных в ее фундамент, ее постулатов. Достоевский, как мы видели, полагал таким абсолютным началом “христианское просвещение народа”, тогда как Бакунин — его “историческое чувство свободы”, а Леонтьев — и вовсе “византизм”. Поэтому столь родственным друг другу мыслителям бесполезно было бы спорить друг с другом. У них не было единой почвы для спора: одно начало вполне и безоговорочно исключало другое.

Бесполезно было бы и нам с ними или с их сегодняшними последователями спорить: общепринятая логика ими принята не была. Но ведь есть и другой путь. Разве не резонно исследовать созданные ими на основе общей иррациональной методологии вполне рациональные идеологические конструкции, тем более что все они претендовали на роль пророчеств или, говоря современным языком, политических прогнозов? Это дает нам счастливую возможность проверить, оправдала ли история их пророчества, оказались

ли действительно “работающими” их прогнозы, многократно проигранные на одной и той же методологической основе всеосозидающего “народного духа” — от крайней леворадикальной утопии Бакунина до столь же крайней праворадикальной утопии Леонтьева, от 60-х до 80-х годов XIX столетия — иначе говоря, способствует ли сама эта методология, во всех своих ипостасях, выработке правильных взглядов, установок и прогнозов или мешает ей. Ведь, в конце концов, то, что Бакунин, Достоевский и Леонтьев друг на друга не похожи, это всем известно, здесь никакой проблемы нет. Проблема в том, что у них о б щ е г о. И к какому решению современных им социальных вопросов привело их оно, это общее.

## 2. УТОПИЯ БАКУНИНА (НАЧАЛО 60—Х ГОДОВ)

Обратимся сперва к анализу методологии. “Русский народ движется не по отвлеченным принципам, — утверждает Бакунин, — он не читает ни иностранных, ни русских книг, он чужд западным идеалам, и все попытки доктринализма консервативного, либерального, даже революционного подчинить его своему направлению будут напрасны... У него выработались свои идеалы, и составляет он в настоящее время могучий, своеобразный, крепко в себе заключенный и сплоченный мир, дышащий весенней свежестью... свободный от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков религиозных, политических, юридических, социальных, он в историю внесет новые начала и создаст цивилизацию иную: и новую веру, и новое право, и новую жизнь.”<sup>1</sup>

Таким образом, корневой, органический фундамент, в котором задана вся освободительная информация, обнаруживается сразу. При этом Бакунина, так же как и Достоевского, нисколько не смущает “непросвещенность” этого фундамента. Он знает, что “народ наш, пожалуй, груб, безграмотен... Но зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность; — он есть... А нас, собственно, нет; наша жизнь пуста и бесцельна...” Не правда ли, как естественно продолжается эта тирада словами Достоевского: “мы какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтоженький”?

Бакунина не смущает даже и то, что народ почерпнул свое про-

---

<sup>1</sup> Бакунин М. Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель. М, 1917, стр. 34.

свещение все из тех же Четьи-Миней, в частности, что он верит в царя. “Здесь не место углубляться в причины этого факта многозначительного, — восклицает он, — потому что, рады мы этому или нет, он обуславливает непременно и наше положение, и нашу деятельность”. Конституция будущего идеального устройства задана заранее. В Четьи-Минейях. И Бакунин, как и Достоевский, не решится ее оспорить. “Царь, — добавит он, — идеал русского народа, это род русского Христа, отец и кормилец русского народа;”<sup>1</sup>

Где же здесь слой социальной структуры, предназначенный к сдиранию, к разрушению для освобождения подземных вулканических сил “народного духа”? Наличествует и он. “Теперь народ за царя, — говорит Бакунин, — и против дворянства, и против чиновничества, и против всего, что носит немецкое платье. Для него все враги в этом лагере официальной России, все — кроме царя;”<sup>2</sup>

“Немецкое платье” упомянуто здесь не для риторики. С ним подходим мы еще к одной органической черте исследуемой методологии: подлежащий разрушению слой объявляется не просто чужеродным, но и навязанным народу извне, порождением иностранного “духа”. И свержение этого “духа” с его русского пьедестала суть непереносимое предварительное условие строительства новой жизни. В данном случае в качестве этого лжекумира и Мефистофеля “русского духа”, фигурирует дух немецкий, воплотившийся в “германской правительственной системе”.

Вот как вкратце формулирует Лагардель эту черту бакунинской утопии: “Перед лицом германской расы, живого выражения догмата и авторитета, славянство представляет то, что есть инстинктивного и творческого в мире. Если Россия стонет под политическим гнетом, то это потому, что она испытывает влияние Германии и ее правительственной системы. Стоит только освободить ее от этих германских цепей, и она распространит в цивилизованном мире то чувство свободы, которое есть ее исторический штемпель;”<sup>3</sup>

Вот отчего судьба революции и царя зависят от того, с кем пойдет царь — со своим народом или с немцами. “Поэтому весь вопрос состоит в том: хочет ли он быть русским земским царем Романовым или голштейн-готторпским императором петербургским? Хочет он служить России, славянам или немцам? Но что

1 Бакунин М. Там же, стр. 29.

2 Там же, стр. 27.

3 Там же, стр. 5.

если вместо царя-избавителя, царя земского народные посланцы встретят в нем петербургского императора в прусском мундире, тесносердечного немца, окруженного синклитом таких же немцев? Ну, тогда не сдобровать и царизму, по крайней мере, императорскому, петербургскому, немецкому, голштейн-готторпскому<sup>1</sup>.

Ясно, что на самое монархическую и православную структуру четьи-минейской конституции Бакунин не посягает, ей он, напротив (в случае ее освобождения от немецких, чиновничьих институтов и признания народного "самоуправления"), предсказывает величие и могущество. "Если бы, — говорит он торжественно, — в этот роковой момент... царь земский предстал перед всенародным собором, царь добрый, царь правдивый... готовый устроить народ по воле его, чего бы не смог он сделать с таким народом? Кто смел бы восстать против него? И мир, и вера восстановились бы, как чудом... и никакая враждебная сила не была бы в состоянии бороться против соединенного могущества царя и народа"<sup>2</sup>

В том-то, по тогдашним представлениям Бакунина, и состоит генеральное преимущество России перед "окоченелой европейской жизнью", что, во-первых, в ее "черном народе, русском, добром и угнетенном мужике" "выработался ум крепкий и здоровый, зародыш будущей организации", что, во-вторых, сохранился у России ее народный земский царь, способный содрать верхний институциональный слой "без потрясений, без жертв, даже без усиленной борьбы и шума", и, в-третьих, что сделать все это можно, отстранив развращенную европейским доктринализмом "образованную часть общества", интеллигенцию.

Вот почему, когда перед русским революционером встанет вопрос, за кем идти, "за Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним? Скажем правду, мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если б Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского."<sup>3</sup> Разумеется, если это окажется невозможно, если Романов не сможет или не захочет, тогда разрушение структуры, расчистка места для готовой "народной организации" произойдет по-пугачевски, с кровью. Но все равно, условием ее останетсь устранение последней Пестеля — интеллигентов с их "абстракциями" и "доктринами", которые непременно попытаются по европейскому своему

1 Бакунин М. Там же, стр. 30.

2 Там же, стр. 30—31.

3 Там же, стр. 43.



невежеству замутить первозданную чистоту народного дела. "Никому он не может поручить этого дела, потому что никто в образованном русском мире не жил еще его жизнью"<sup>1</sup>

Но зато если удастся отстранить от "народной организации" доктринеров, если народ поймет, что "западные абстракции, консервативные ли, либерально-буржуазные или даже демократические к нашему русскому движению неприменимы", то исполнится главный прогноз бакунинской утопии: "Славяне могут и должны перелить свою внутреннюю политику, как свежие весенние соки, в жилы окоченевшей европейской народной жизни". После того, разумеется, как "созидается единое вольное восточное государство" и "столицей его будет Константинополь".

### 3. УТОПИЯ ДОСТОЕВСКОГО (70-е ГОДЫ)

Достоевский глубже и основательнее Бакунина. Его аргументация историчней и, если можно так выразиться, глобальней, а рекомендации и прогнозы более конкретны. Обосновать свою вражду к социализму и атеизму он желает тысячелетней борьбой католицизма с православием, Великого Инквизитора — с христианством, мечты о "механическом, без Бога, устройстве жизни", — с мечтой о подлинном духовном "братстве во Христе". Современный конфликт вырастает под его пером в конфликт исторический, вселенский, библейский. Естественно, что реальную историю конфликта начинает он со времен античных.

В самом деле, "Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала перед христианством — формула, а не сама идея... Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западно-европейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному".<sup>2</sup>

Так формулируются два полюса исторической драмы и устанавливается ее "отрицательный герой", антихрист — "католичество, продавшее давно уже Христа за земное владение... и бывшее, таким

<sup>1</sup> Бакунин М. Там же, стр. 33

<sup>2</sup> Достоевский Ф. Дневник писателя, Берлин, 1922, стр. 237.

образом, главной причиной материализма и атеизма Европы; это католичество, естественно, породило в Европе и социализм”<sup>1</sup>

Итак, антихрист двулик, как Янус, и обе грозные его ипостаси — папство и социализм — едины в том, что “имеют задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа”, угрожают самому существованию мира. Угрожают уже давно, но именно сейчас, по истечении 1877 года после рождества Христова, “она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник... подкопан... Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, жиды, все это рухнет в один миг и бесследно... Все это “близко и при дверях” ... предчувствую, что подведен итог”<sup>2</sup>

Апокалипсические предчувствия предрасполагают к пророчествам, в которых вырастают величественные контуры спасительницы мира, России, обусловленные исключительно тем, что единственный на свете “народ русский в огромном большинстве своем — православен и живет идеей православия в полноте... В сущности, в народе нашем, кроме этой “идеи” и нет никакой, и все из нее одной исходит.”<sup>3</sup>

Стало быть, существо вселенского конфликта, движущего историческую драму, в том, что “в восточном идеале — сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение, тогда как по римскому толкованию наоборот”<sup>4</sup> Вот почему не социальная и не политическая борьба несет избавление от зла, не социалисты, которые “жаждут муравейника, а пока зальют мир кровью”<sup>5</sup>, которые в ослеплении своем всего лишь служат бессознательно антихристу — папству, ибо “католичеству даже выгодны будут резня, кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия. Тут-то оно и может надеяться поймать на крючок в мутной воде свою рыбу... и очутиться вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично “земным владыкою и авторитетом мира сего” и тем

1 Достоевский Ф. Там же, стр. 489.

2 Там же, стр. 631.

3 Там же, стр. 665.

4 Там же, стр. 238.

5 Там же, стр. 319.

окончательно уже достигнет цели своей!1 Вот почему, “когда все рухнет, волны разобьются лишь о наш берег”...

Таковы противоборствующие силы в драматической утопии Достоевского, такова их расстановка и соотношение накануне окончательной сшибки в ходе разрешения “восточного вопроса”. Отсюда уже сама собою вытекает и программа – внутри- и внешне-политическая. Внутри должны быть освобождены подземные православные силы народа русского, для чего необходимо должен быть содран и разрушен внешний культурный слой ложного европейского просвещения, сокрушен неисправимый “чужой народик” – интеллигенты, роковая ошибка которых “в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский “социализм” теперь говорю... цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее.”2

Подробности “русского социализма” изложены в откровениях старца Зосимы и, сверх того, в возобновленном в последний год жизни Достоевского “Дневнике писателя”: “Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм”3

Прогнозы эти несомненно отличны от рекомендаций Бакунина, так как для освобождения фундаментальных сил “русского духа” разрушать предлагается силой не институциональный, а культурный, не германский, а европейский, не чиновничье-интеллигентский, а только интеллигентский. Но различия эти касаются деталей, формы, конструкции, а не существа дела. Различия – оттого, что в основание утопии положено иное начало: не “народная организация”, а “народная вера”. “С Востока и пронесется новое слово мира навстречу грядущему социализму, которое может вновь спасти европейское человечество. Вот назначение Востока, вот в чем для России заключается восточный вопрос... Но для такого назначения нам нужен Константинополь, так как он центр Восточного мира... Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки”4

1 Достоевский Ф. Там же, стр. 498

2 Там же, стр. 666.

3 Там же.

4 Там же, стр. 489, 486.

С этим вновь возникающим видением Константинополя мы вступаем на почву внешнеполитических прогнозов Достоевского. Они тоже отличны от прогнозов Бакунина. Если для Бакунина вселенским дьяволом выступает “немецкий дух” и соответственно — Германия, то в утопии Достоевского на эту роль претендует в качестве “обнаженного меча папства” и “родины социализма” — Франция. Ей уверенно пророчит он несомненное и самое мрачное будущее: “Франция отжила свой век... разделилась внутренне и окончательно сама на себя навеки... в ней никогда уже более не будет твердого и единящего всех авторитетного правления, здорового национального и единящего центра”, “Францию ждет судьба Польши, и политически жить она не будет...”<sup>1</sup> Что же до Германии, руководимой Бисмарком; “единственным политиком в Европе, проникающим гениальным взглядом своим в самую глубь фактов” и прозревшим в результате “самого страшного врага Германии в католицизме и порожденном католицизмом чудовище — социализме”<sup>2</sup>; то с нею как раз дело обстоит с точки зрения Достоевского вовсе не так безнадежно.

Конечно, она в непомерных своих притязаниях ошибается, конечно, “не она остановит чудовище: остановит и победит его воссоединенный Восток и новое слово, которое скажет он человечеству”;<sup>3</sup> Но во всяком случае, имея в виду общего врага, с нею можно и договориться по-доброму. Тем более, — “что Германии делить с нами? Объект ее — все западное человечество. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала вместо римских и романских начал и впредь стать предводительницей его, а России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом, предназначенных изменить лик мира сего...”<sup>4</sup>

Стало быть, прогноз таков: Россия спасет Запад и потом великодушно оставит его во владение Германии. В обмен, разумеется, на Восток и Константинополь. И “два великие народа” завершат, таким образом, рука об руку свое триумфальное шествие по христианскому миру. “Во всяком случае, одно кажется ясным, именно: мы нужны Германии даже более, чем думаем. И нужны мы ей не для минутного политического союза, а навечно”;<sup>5</sup>

1 Достоевский Ф. Там же, стр. 494—495.

2 Там же, стр. 493.

3 Там же, стр. 498.

4 Там же, стр. 498.

5 Там же.

Такова в общих чертах совокупность прогнозов Достоевского, такова его утопия, такова картина мира, естественно вытекающая из исследуемой методологии.

#### 4. УТОПИЯ ЛЕОНТЬЕВА (80-е ГОДЫ)

Константин Леонтьев смотрел на вещи трезвее, чем Достоевский. Да и то сказать, 80-е годы требовали трезвости. Сокрушительная неудача обоих крестовых походов на Константинополь, воспетых Погодиным и Достоевским в 1853 и в 1878 годах, убийство царя и “измена” Болгарии надолго излечили русских консерваторов от мечтаний о спасении Европы посредством распространения на нее “русского духа”, будь то в форме “народной организации” или “народной веры”.

Н. Данилевский первый указал на возможность принципиально отмежеваться от Европы, от ее задач, проблем и потрясений, отрицая само понятие всемирной истории и введя вместо него “теорию культурно-исторических типов”, самодовлеющих и независимых друг от друга, как независимы, допустим, рыбы и млекопитающие. И для его ученика Леонтьева Европа уже вовсе не “вторая родина”, как для Достоевского, которую нужно спасать, но вредный и опасный источник либеральной и демократической заразы. Не Россия должна спасать Европу, а Россию надо спасать от Европы. Спасать, потому что “северный исполин заболел либеральной горячкой; он заразился бактериями западной демократии”<sup>1</sup>

Ясно поэтому, что Леонтьев уже не верит, как Достоевский, в спасительную силу “всемирного братства во Христе”, заложенную в православии русского “простого народа”, он не верит даже в полицейскую силу православия, даже и сам этот “народ”, не желает перед ним “преклоняться и ждать от него правды”. Он неизлечимо в нем разочаровался. “Русский простолюдин наш... вместо того, чтобы стать нам примером, как мы, националисты, когда-то смиренно и добросердечно полагали... стал теперь все более и более проявлять наклонность... заменить почти европейского русского барина почти европейскою же сволочью с местным оттенком бессмысленного пьянства и беззаботности в делах своих”<sup>2</sup>

Казалось бы, такие кардинальные сдвиги во взглядах должны были бы побудить Леонтьева отказаться от столь зыбкой мето-

<sup>1</sup> Леонтьев К. Н. Сочинения, т. У, стр. 233.

<sup>2</sup> Там же, стр. 246.

логии. Хотя бы потому, что прогнозы, основанные на ней, жестоко не оправдывались. Однако это не так. Однако он не отбрасывает ее, а лишь пытается ее модернизировать. Это обстоятельство не может не наводить на мысль о внутренней логической связи между любыми модификациями консервативно-националистических идеологий именно с этой методологией, предполагающей спасти мир, уничтожив интеллигенцию и апеллируя к традициям, заложенным непосредственно в несказанных глубинах и безднах “народного духа”.

Для того и модернизирует ее Леонтьев; для того и отсекает жестоко ее скомпрометированные аспекты и всю силой своего публицистического дарования старается придать ей новый блеск и авторитет; для того и критикует, чтобы спасти ее от уничтожающей критики истории. С этой целью он вводит понятие “византизма”, иначе говоря, политической культуры народа, бессознательно до самых глубин проникнутой неевропейским, восточно-римским политическим преданием. Культуры, въевшейся во все поры национального сознания и доминирующей, независимо от нашей воли, над всеми нашими привычками и акциями. “Нас крестят по-византийски; нас отпевают и хоронят по византийскому уставу. В церковь ли мы идем, лоб ли мы дома крестим, царю ли на верность присягаем — мы продолжаем византийские предания; мы являемся чадами византийской культуры”.<sup>1</sup> Это попросту выше нас и сильнее.

Таким образом, в новой форме политического стереотипа, своего рода генетического кода, органического строения национального сознания, вновь всплывает та потонувшая будто консервативная Атлантида, тот материк первозданной народной культуры, в котором задана вся историческая программа народа. “Дворянин привык начальствовать над крестьянином... Мужик привык испокон веку повиноваться “господам”... И все русские люди, начиная от придворного сановника и до последнего батрака, давно знали и знают теперь, что они повинуются одному и тому же Самодержавному Государю”. “Как мы отречемся от того душевного наследия, от тех вековых привычек, которые перешли преемственно к нашему народу и к правящим классам нашим от времен Михаила Федоровича, Петра 1, Екатерины II и Государя Николая Павловича? Как мы от них отречемся? Мы

---

<sup>1</sup> Леонтьев К.Н., Соч. т. У1, стр. 335.

не можем, не разрушая Россию, заставить организм ее иметь других предков, принять не тот тип, который он от них наследовал”<sup>1</sup>.

Для Достоевского “народная правда” хороша тем, что она совпадает с идеалом абсолютного Добра, что она прекрасна и истинна. Леонтьеву нет дела до Добра. “Душевное наследие” его народа, его “правда” проста и цинична. И хороша она лишь тем, что – своя, ни на что не похожая, наша правда, тем, что другой, хотим мы или не хотим, нам не дано. Но разве это не совпадает с заклинанием Достоевского преклониться перед правдой народной и признать ее за правду, даже если она вышла бы из Четы-Минеи? Так вот что на самом деле записано в этих священных Четы-Минейх, в этом евангелии “народной правды”, – уличает его Леонтьев. Вы хотели “правды”? Вот она, ваша правда – откровенная апология деспотизма. Вы готовы ее принять? И попробуйте теперь после всех своих заклинаний от нее отступить!..

Но помним мы и то, что исследуемая методология требует не только утверждения “народной правды”, какова бы она ни была, но и отрицания чужеродного институционального или культурного слоя общественной структуры. И здесь Леонтьев сохраняет абсолютную верность методологии Достоевского и Бакунина. Только у него в этой роли выступает не “германская правительственная система”, как у Бакунина, и не “чудовище атеистического социализма”, как у Достоевского, а бактерии западной демократии, конституировавшиеся в России как социальный слой “просвещенного мещанства”. Что совершенно, впрочем, соответствует бакунинской “образованной части общества”, и “чужому народику” Достоевского.

И уже самый тот факт, что, несмотря на все “душевное наследие”, несмотря на весь генетический “византизм” России, просвещенное мещанство это укоренилось в ней все-таки неистребимо, служит Леонтьеву внятным сигналом неблагополучия. Он гораздо более Достоевского напуган опасностью чужеродного слоя. Режим, позволивший этому слою разрастись, подобно раковой опухоли, не устраивает Леонтьева. И он, как и все консерваторы – и в противоположность охранителям, – выступает яростным его критиком. Режим этот, по его убеждению, болен неизлечимо. И спасти его одним обращением к стихии народной жизни, к первоэлементу методологии – “византизму” представляется Леонтьеву неис-

---

1 Леонтьев К. Н. Там же, т. УІІ, стр. 429, 436.

полнымым. Ибо сам этот первоэлемент стремительно размывается наносным европеизмом, и любезная его сердцу мечта о "новой, оригинальной, славяно-азиатской цивилизации"<sup>1</sup> под угрозой. Он даже полагает, что вообще "на старой, почти 1000-летней, великорусской почве, в старых пределах и особливо при старых столицах, при слишком вьезшихся в нашу кровь петровских преданиях, на 3/4 европейских, н е л ь з я осуществить эту реальную мечту"<sup>2</sup>

Казалось бы, Бакунин и Достоевский слишком свято верили в первоэлемент методологии, а Леонтьев слишком явно напуган опасностью чужеродного слоя, чтобы политические прогнозы их и рекомендации совпадали. Однако...

Однако Леонтьев и тут остается верен их методологии. И так же, как они, он пытается сконструировать такую внешнеполитическую ориентацию России, чтобы сила ее, так сказать, компенсировала слабость первоэлемента. "Нужен крутой поворот, – постулирует он, – нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания, а главное – необходим новый центр, новая культурная столица"<sup>3</sup>

Да уж не о Константинополе ли опять речь? – может спросить искушенный читатель. Увы, о нем.

"Таким поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию". Согласитесь, что это могло быть цитатой и из Достоевского, и из Бакунина. Да, к разрешению всех проблем третьей утопии с каким-то фатальным постоянством призывается все тот же вожденный призрак Константинополя – хрустальная мечта, неутоленная страсть всех русских консерваторов второй половины прошлого века.

Впрочем, в самой утопии многое изменилось. Если Достоевский, как мы помним, пророчествовал "близкое и при дверях" кровавое падение Европы, которую Россия со своим "новым словом" предназначена спасать среди апокалипсических ужасов, предварительно, впрочем, разобравшись "без европейской опеки, с нашими общественными идеалами, непременно исходящими от Христа и личного самосовершенствования"<sup>4</sup>, то прагматику Леонтьеву такой

1 Леонтьев К.Н. Соч. т. У, стр. 420.

2 Там же, т. У1, стр. 87.

3 Там же, т. У, стр. 421.

4 Достоевский Ф. Дневник писателя, Берлин, 1922, стр. 633.



простодушный идеализм смешон. Не спасать собирается он Европу, а разрушить раз навсегда этот постоянно действующий источник опасного эгалитарного излучения. И прежде всего, конечно, Францию, ибо “Франция — это романо-германская Европа по преимуществу”.<sup>1</sup>

“Я не знаю, почему бы людям, желающим России идеального блага (то есть духовной независимости), не желать от всего сердца гибели и окончательного унижения той стране или той нации, которой дух и во дни величия, и во дни падения представлял и представляет собой квинтэссенцию западной культуры, хотя и отжившей, но еще не утратившей вполне своего авторитета в глазах того отсталого большинства русской интеллигенции, которое теперь еще имеет наивность верить в какое-то демократическое и благоденствующее человечество”.<sup>2</sup> Тем более, что “разрушение Парижа сразу облегчит нам дело культуры даже и внешней в Царьграде”.<sup>3</sup>

Таким образом, внешнеполитический аспект леонтьевской утопии включает в себя три основных пункта: “1) скорая война с Австрией или Англией. 2) Соглашение с Германией. 3) Анархия во Франции”.<sup>4</sup> Основной замысел — использовать Германию как таран для окончательного сокрушения Франции и пробуждения в ней анархической агонии. Подсобный замысел — отдать Германии прибалтийский северо-запад, приобрести Босфор ценою Финского залива. “Нет разумной жертвы, которой нельзя было бы принести Германии на бесполезном и отвратительном северо-западе нашем, лишь бы этой ценой купить себе спокойное господство на юго-востоке, полном будущности и неистощимых как вещественных, так и духовных богатств...”<sup>5</sup>

Все лукавство этого “обмена” обнаруживается лишь тогда, когда мы начинаем понимать, что вместе с северо-западом отдаем мы Германии и то “петровское тусклое окно в Европу”, через которое проникла к нам “эгалитарная зараза”, окно, которое “тогда потемнеет и обратится в простой торговый васисдас”.<sup>6</sup> И “чем скорее станет Петербург чем-то вроде балтийского Севастополя или балтийской Одессы, тем, говорю я, лучше”.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Леонтьев К.Н. Там же, стр. 432.

<sup>2</sup> Там же, стр. 434.

<sup>3</sup> Там же, стр. 436.

<sup>4</sup> Там же, стр. 421.

<sup>5</sup> Там же, стр. 341–342.

<sup>6</sup> Там же, т. У1, стр. 88.

<sup>7</sup> Там же, т. У, стр. 426.

Лишь эта хитрая комбинация может, по убеждению Леонтьева, дать России искомый выход из всех ее затруднений. Война, которая даст повод и возможность содрать чужеродный культурный слой, раздавить интеллигенцию, ибо это будет война против ее либеральных и демократических идеалов. Война в союзе с авторитарной Германией против эгалитарной Франции и либеральной Англии. Откровенно империалистическая война за Босфор, открывающая принципиально новые перспективы для всей европейской политики России, ибо, как писал Энгельс, "Царьград в качестве третьей Российской столицы — это означало бы... не только духовное господство над восточно-европейским миром, это было бы также решающим этапом в установлении господства над Европой".<sup>1</sup> Война, предназначенная служить поистине поворотным пунктом в судьбе России. "Скорая и несомненно удачная война, долженствующая разрешить восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу тот выход из нашего нравственного и экономического расстройств, который мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах".<sup>2</sup>

Такова утопия Леонтьева, таковы пророчества и прогнозы, к которым он пришел, следуя известной нам методологии, старательно и трезво скорректированной им применительно к ситуации 80-х годов.

## 5. МЕТОДОЛОГИЯ РЕАКЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ

Какая бездна страсти, ума и таланта, политической изобретательности и идеологического конструирования положена на эти построения, сколько надежд и веры утратилось с ними, и все зря, напрасно, бесплодно! Ведь мы вели речь о самостоятельных, серьезных мыслителях, ведь все они искренне верили, что их проекты — единственно возможные пути России.

А на самом деле пророчествуемые ими пути оказались, как небо от земли, далеки от действительных ее путей, прогнозы их не сбывались, конструкции рушились.

Словно бы некий рок над ними смеялся: когда они предсказывали революцию, наступала реакция. Когда они предсказывали войну, воцарялся мир. Когда они предсказывали падение Европы, она укреплялась. Когда они предсказывали союз с Германией

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Полн. собр. соч. т. 22, стр. 18.

2 Леонтьев К.Н., соч. т. У, стр. 421.

против Франции, заключался союз с Францией против Германии.

Три вполне реалистичные, по мысли их авторов, идеологические конструкции, три пророчества на наших глазах обратились в прах; в три памятника политической недалёковидности, в три реакционных утопии. Одно уже это обстоятельство делает фигуры их авторов трагическими и заставляет задуматься над причиной столь постоянного, столь рокового их бесплодия, над причиной кардинальных неудач их прогнозов даже в деталях, даже в частных вопросах.

К сожалению, мы должны пока оставить в стороне проблему социологических, по выражению Плеханова, эквивалентов этих идеологий — и потому, что они были различны в каждом из этих случаев, и потому, что проблема эта заслуживает специального разговора. Интересующая нас здесь методологическая сторона дела и без того достаточно сложна. Ибо может ли быть сомнение в том, что идеологические конструкции, разобранные нами, казалось бы, предельно далекие друг от друга как по субъективным целям и намерениям авторов, так и по своим социологическим эквивалентам, объективно, на деле оказались поразительно сходными, а в основополагающих своих элементах и попросту одинаковыми.

Поневоле приходится сделать вывод, что именно общая им всем методология, которую уместно было бы определить как реакционно-демократическую, обусловила их нереалистичность, их крушение, их утопизм, независимо даже от того, создавались ли они левыми или правыми радикалами, проповедниками "народной организации", "народной веры" или "народного византизма".

И, с другой стороны, лишь проанализировав по возможности весь спектр русских реакционно-демократических утопий, мы можем отчетливо представить себе саму методикку их конструирования, по крайней мере, в главных ее очертаниях и элементах.

Итак, в основе ее лежит представление о некоем однажды и навсегда сложившемся, неподвижном народном характере, как об аккумуляторе добра и истины, как о субъекте правильной идеологии и идеального общественного устройства, словно бабочку в коконе, заключающем в себе готовые формы и правила общежития. Эта подземная стихийная мощь требует лишь освобождения из-под чужеродных напластований. Помочь освободить ее, помочь ей обрести волю и бытие, воплотиться в адекватные социальные и политические формы — такова задача идеолога. Ибо этот метафизический

фундамент утопии — вечный покой среди вечного движения, наш национальный град Китеж, первоизданный, безгреховный рай, золотой век человечества — не где-то в далеком, сказочном прошлом, как учат церковные ортодоксы, не где-то в далеком, туманном будущем, как учат социалисты, а здесь, рядом с нами, в нашем “простом народе”. В нас самих, поскольку мы верны его преданиям. Поскольку умеем видеть его сквозь европейскую и интеллигентскую шелуху цивилизации. Таков первоэлемент методологии.

Но осуществление его требует в свою очередь разрушения второго элемента — вселенского зла. И преклонение перед “народной правдой” неотвратимо и неизменно оборачивалось враждой к интеллекту и к носительнице его — интеллигенции. Она обвинялась в искажении “правды”, она составила тот ложный пласт общественной структуры, который приходилось беспощадно сдирать и разрушать. Просвещенное мещанство, зараженное бактериями западной демократии, повинно было в том, что вырабатывало новые формы исторического творчества, тем уже вредные и дурные, что они н о в ы е, стало быть, чуждые исконным национальным формам добра и истины.

Как видим, гипноз азиатски-неподвижной “народной правды” обусловил драматическое непонимание идеологами реакционной демократии самой структуры и механизма развивающихся общественных систем. Непонимание того, что по мере их развития от материального производства отщеплялось, превращаясь в самостоятельную форму социального действия, производство идей, духовное производство, столь же закономерное и необходимое развитому обществу, как и производство вещей. Именно в силу этого своеобразного разделения труда субъектом идейного производства и социального конструирования становится в общественной системе интеллигенция. Именно она ставит политику ее управляющих центров под контроль рациональных и этических критериев. Именно она вырабатывает сама эти критерии и саму освободительную идеологию. Ибо в этом и заключается ее обязанность перед своим народом, оправдание ее бытия, ее социальная функция.

Третий элемент методологии — политическая программа, одинаково во всех утопиях сконструированная так, чтобы обеспечить разрушение чужеродного слоя и торжество первоэлемента.

С этим связан и четвертый, последний — по порядку, но не по значению — элемент конструкции, а именно представление об

и с к л ю ч и т е л ь н о с т и метафизических свойств русского “народного духа”, призванного спасти мир — смотря по конструкции, — от германизма, атеизма или эгалитаризма. Постулируется, что никакой другой народ не способен на подвиг духа такой мощи и значения: одни не дозрели, другие перезрели. Божье благословение почивает на челе одного народа. И поскольку настало время окончательного решения мирового конфликта — один пророчил его в 60-е годы, другой — в 70-е, а третий — в 80-е, — он, этот народ-богоносец, спасет мир, реорганизовав его, наконец, из царства антихриста в царство Божие. Разумеется, во главе с русским царем, имеющим резиденцию в Константинополе.

Когда пробил век русских революций, всему миру дано было увидеть осуществление националистической проповеди идеологов реакционной демократии. Их призывы оказались написанными на черносотенных хоругвях охотнорядских мясников, на знаменах российской Вандеи, которая обнаружила в обожествленных “народных” глубинах оборотную сторону их “правды” — звериный лик погромщика. И будь к тому времени живы эти идеологи, они сами, наверное, ужаснулись бы черносотенному лику своей “правды”.